

*Но снят в угаснувших веках
все те, кто были бы любимы,
как я, печалию томимы,
как я, одни в своих мечтах.*

*И я умру в степях чужбины,
не разомкну заклыйтый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины...*

Черубина де Габриак

Удивительная вещь происходит: читаешь тексты далёкой, незнакомой тебе поэтессы, родившейся и жившей в Томской области и умершей, когда тебе было всего восемь лет и ты сама была ещё слишком далека от того, чтобы понять, чем станет для тебя поэзия... И вдруг понимаешь, что через эти стихи, как через тончайшие нейронные сети, происходит подключение или даже сложное переподключение. Сквозь явные и несомненные пласты влияний — из XIX века, конечно, Пушкина, из XX века Ахматовой и Цветаевой — чудится мощная, почти мистическая взаимосвязь с «третьей стороной Луны», с ещё одним течением женской русской поэзии XX века, не столь заметным, подспудно протекавшим подземной рекой рядом с открытыми вольготными руслами поэтесс Анны Андреевны и Марины Ивановны. Представляется, что Любовь Татишвили, прожившая, увы, всего 25 лет и поэтому не успевшая сформироваться как значительный поэт, в какой-то степени наследовала загадочной фигуре Серебряного века, таившейся под именем Черубины де Габриак (а «в миру» звавшейся Елизаветой Дмитриевой), о коей Ахматова (скорее всего, ревнуя к Николаю Гумилёву) отзывалась пренебрежительно. Тем не ме-

нее признавала, что в 1909 году у той был шанс занять место первой поэтессы России.

Почему так представляется? Наверное, потому что ключ улавливаемого Любовью вдохновения (несмотря на то, что она училась у поэтических мэтресс) открывает не аристократически царственные, но холодные отстранённые царскосельские парки Ахматовой и не страстные, холеричные московские хоромы и гробницы, которые «в ряд стоят», Цветаевой. Думается, как и Елизавете Дмитриевой, ей был дарован третий, дорогой, но при этом самый в судьбе неуютный поэтический темперамент — мощно подогреваемая, но потайная, интровертная страсть, которая может швырнуть из огнедышащего фонтана в ледяную бездну. И чаще всего этот темперамент выплёскивается, когда Любовь глубоко проживает, примеряет на себя, проигрывает драмы исторических и литературных персонажей. Доказательства находим в изданной однокурсниками в 2007 году книге «Буду...» и в воспоминаниях университетской подруги Любви Татишвили, а ныне доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Томского государственного университета Натальи Нестеровой.

В своих «Воспоминаниях» Юрий Мамлеев удачно написал о своей матери и тётушках: они «были образованные нежные девушки из русских семей и хотели просто учиться». Удачную формулировку эту можно применить и к Любви Татишвили, подразумевая и мысль Мамлеева о преемственности в советском времени, в простых русских людях той патриархальной дореволюционной духовной России. И можно сказать, что Любовь впитала эту культуру, насколько это возможно, благодаря условиям простой, но образованной семьи. Родилась и выросла она в далёком сибирском посёлке Могочино Томской области. Отец (с грузинскими корнями, потомок сосланного в Сибирь грузина), по рассказам сестры Любы, «пописывал» стихи, был тамадой и конференсье на праздниках, мать работала продавщицей, при этом любила петь песни под гитару. По рассказам сестры, в семье были приняты домашние чтения, и чаще всего читали Пушкина, «Евгения Онегина». Даже трёх дочерей называли именами пушкинских героинь/героев: Татьяна, Ольга, Евгения (очень ждали мальчика и хотели назвать его именем Евгения Онегина), последняя — Любовь. По сути, в этом пути нет ничего экзотичного и экстраординарно-

го. Была учительница литературы Лидия Евгеньевна Пономарёва, также сделавшая «прививку» литературы. Школьницей Любовь была очень начитанна и в Томский государственный университет при большом конкурсе поступила с первого раза. С Лидией Евгеньевной впервые побывала в Ленинграде на Всероссийском слёте пушкинистов, что, безусловно, стало ярчайшим впечатлением юности. Ещё бы — пройтись по тем мостовым, где бродил её герой, где разыгралась трагическая дуэль, впечатления от которой находим в цикле Татишвили «Белые ночи» (так его назвала не сама Любовь, а составители сборника стихов).

*Деревья вздрогнули. И глухо
В ответ заволновался лес...
На небе солнце смыло сухо,
И в десяти шагах — Дантес.*

*Он не упал, и это странно,
И снег холодный душу жжёт.
Кругом свобода и пространство,
И в снег, и в смерть, и в мрак полёт.*

Стихи Любви Татишвили не поражают, не шокируют авангардным языком, с самого начала понятно, что они (как и её воспитание) мерно текут в русле классической литературы, наследуя акмеистической традиции. Нет туманных символистских образов, всё «акмэ» — острота, смысловая ясность. Но, да простят мне этот трюизм, скажу словами из «Маленького принца»: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Я бы даже уточнила — речь не о зоркости, а об остроте сердечного слуха, когда в традиционных стихах, где периодически видны рифмы-штампы (кстати, в джазе к этому относятся сдержанней и именуют «стандарты»), где вполне себе традиционные размеры, вдруг как будто наливаются мускулы — концентрируются сгустки упомянутой триады «лёд — огонь — бездна»:

*В холод ночной, в ослепление звёзд
И в ледяную капель,
В омут, в хлестанье ласкающих розг —
Только не в эту постель.*

*В руки чужие, в тяжёлый укор,
За тридцать девять земель...
В клетку тигриную, под забор —
Только не в эту постель.*

Спору нет, ощутимо влияние Цветаевой. Но всё же — откуда? Откуда в юной девушке, студентке филфака Томского государственного университета, древнее, дикое, густое, физиологическое, древняя языческая страсть, разжигаемая на тигле поэзии? По воспоминаниям подруг, у Любви тогда не было опыта реальных любовных отношений, не было любовников и страстей. Всё было светло и романтично, как в духоподъёмном советском фильме. Она ждала из армии Александра Кораблина, с которым они учились в Могочинской школе. Красивый скромный парень, хорошо рисовал. Очень любил Любу и писал ей из армии, о чём все знали. Более того, Люба сразу очертила границы дозволенного для тех, кто, возможно, хотел добиться её расположения. После окончания университета вышла за Александра замуж.

К тому же в общежитии, где Любовь жила в одной комнате с ещё пятью девушками, трудно было скрыть тайны, даже если бы они и были. Там жили большой студенческой семьёй: была большая комната, соединённая из двух. Девушки сами захотели жить таким «колхозом». Студенческая жизнь была бурной, интересной. Как вспоминает Наталья, «комната была угловой, рядом с небольшим холлом, где на противопожарном красном ящике с песком, называемом “гробиком” (чёрный юмор, но никаких печальных ассоциаций), пели под гитару». Песни бардов, особенно Булата Окуджавы. В комнате была штаб-квартира Литературно-художественного театра, который был организован на филфаке. Всем четвёртым этажом (подходили и с других) слушали Лёву Эренбурга, подпевали (сегодня Лев Эренбург — создатель и руководитель Небольшого драматического театра в Санкт-Петербурге). В комнате даже свадьбы играли, устраивали дни рождения, работали над очередным выпуском стенной «многополосной» газеты «Гуманитарий», обсуждали комсомольские дела.

Любовь была самой младшей в комнате, но именно от неё подруги узнавали новые литературные имена, новую лексику — не бытовую, а «сложную», которую Любовь познала и впитала из книг: в её юношеских стихах были аллюзии, до которых другим

приходилось доходить. Почти никто из подруг не улавливал момент, когда она писала стихи, видели — что-то писала в записной книжке, лёжа на кровати, используя подушку вместо письменного стола, что-то в библиотеке, на лекциях. Наталья рассказывает: на руках у подруг осталось множество экспромтов, которые она писала «с лёту» во время лекций на клочке бумаги. Но вот, кстати, важная деталь, в которой выразилась и особенность эпохи, и особенность поэтического характера Татишвили. В отличие от эстрадной поэзии шестидесятников, не было принято читать свои стихи на публичных площадках. Поэзия в 70-е годы нырнула вглубь, ушла в себя. Стихи Любви, конечно, публиковали — в стенной факультетской газете «Гуманитарий» на поэтической странице «Орфей»; газета была популярна среди студентов. Но вслух читали только в своём, узком кругу.

Итак, родник поэзии Любви Татишвили (по характеру она была эмоциональная, но лёгкая в общении, неконфликтная, жизнелюбивая) пробивался в бурной студенческой среде. Пробивался вроде бы открыто, ведь она не скрывала своей поэзии, но в то же время и потаённо. Собиралась в университет, крутилась перед зеркалом, надевала белую кофточку с однотонной строгой юбкой и без всякого уныния, с самоиронией говорила: «Девочки, я такая красивая... Почему меня никто не любит?» С одной стороны, вспоминается задорная атмосфера фильма «Девчата», а с другой стороны, если взглянуть на фото Любви, заметим — где-то в очертании губ, в глубине глаз дымится, матово отблёскивает томная тягучая аура, что-то от поэтесс Серебряного века, которые, в свою очередь, вдохновлялись, проигрывали и перерабатывали мифологию и мистику средневековой поэзии и прозы.

Вначале, конечно, всё традиционно. Как у любимого Пушкина. Чудесные образы природы, ощущение её хрупкой красоты и тут же (вот тут уже талант) — цепко улавливаемые и неожиданно, как стёклышки в зрительной трубе, выстраиваемые образы, которые Любовь Татишвили лаконично, точно, ясно приводит к логическому смысловому завершению, катарсису:

*На листьях — пятна из росы
И ослепительного света.
Холодный луч, упав, застыл
В красе осеннего букета.*

*Во всём — вблизи и вдалеке —
Сентябрь, короткий, как рыданье.
И в этот миг — в моей руке
Ключ от восторгов мирозданья.*

Но через несколько стихов выясняется, что в природе всё не так просто и одномерно, что лист — это странник (может быть, ссыльный декабрист?), и ещё есть «княжна», к которой лист обращается. Не возникает сомнений, что княжна — лирическая героиня Любви:

*На тропинке на изученной —
Жёлтый лист, серьёзный гость,
Путешествием измученный,
Знал, откуда что взялось.*

*Стынет в воздухе простуженном
Радуга. Тиха. Влажна.
Не дождёмся лета, суженый!
«Ничего! Терпи, княжна!»*

Почему возникла ассоциация с поэзией Елизаветы Дмитриевой — Черубины де Габриак? (Тут даже не знаешь, какое имя заключать в скобки, поскольку мистификация и перерождение поэтессы в образ были столь глубокими, что Черубина была почти реально воплощена, она — существовала). Именно по причине сходной страсти к женской игре — в примерку на себя великих и таинственных образов, которые, если к ним прикоснуться, заражают и обволакивают своей энергетикой, посыл во вселенную возвращается к тебе бумерангом. Дмитриева в соавторстве с Максимилианом Волошиным создала образ таинственной, экзальтированной красавицы-католички, пылающей плотской страстью к Спасителю. Историю все знают. Чем она обернулась для Елизаветы (Черубины) — триумфом или падением — и какова была цель — только ли в том, чтобы подурочить поэта и критика, редактора журнала «Аполлон» Сергея Маковского — на эти вопросы вряд ли ответишь однозначно. Скорее всего, чёткого ответа не дали бы и сами герои. Может быть, мистификация со столь болезненно полным перерождением — это и есть осу-

ществление цепочки, через которую идёт замыкание-перетекание «сакральное рождение — жизнь — мифология — история — литература — снова жизнь»? И для этого нужно пройти испытание-триаду «лёд — пламень — бездна»?

*Есть на дне геральдических снов
Перерывы сверкающей ткани;
В глубине анфилад и дворцов,
На последней таинственной грани,
Повторяется сон между снов.*

*В нем всё смутно, но с жизнью схоже...
Вижу девушки бледной лицо, —
Как моё, но иное, — и то же,
И моё на мизинце кольцо.
Это — я, и всё так не похоже.*

<...>

*И моё на устах её имя,
Обо мне её скорбь и мечты,
И с печальной каймою листы,
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.*

*И мой дух её мукой волнуем...
Если б встретить её наяву
И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу», —
И обжечь ей глаза поцелуем.*

(Черубина де Габриак)

Любовь Татишвили не придумывала мистификаций. Может, эпоха не располагала к тайной игре, может, не случилось во-рвавшегося в жизнь литературного друга и мэтра. Но — черпание из высокого источника утончённой возвышенной женской страсти, надевание-проживание историко-литературных женских образов помогло созданию, на мой взгляд, лучших её стихов.

Сначала были думы о Наталье Гончаровой — хотя тут скорее участие, сопереживание со стороны — но далее в стихи глубоко, ёмко вошли другие фигуры:

*Словно надпись на кресте,
Первозданна
В вихре всех его затей
Донна Анна...*

*Но растаял, словно дым,
Очерк бледный
Первой сладостной звезды
И последней...*

В двух коротких ёмких строфах вихрем — святость и грех, начало и конец, восторг, разочарование (а была ли?) и служение-поклонение («первой <...> / И последней»). Ещё одно стихотворение — вхождение в образ Юдифи: «Ради двух неуклюжих строчек — / О безумье — растерзан миф. / Я приду за жертвою ночью / Белоногая, как Юдифь. / И когда меня из трактира / Поутру зовут петухи, — / Всё равно опьяневшей лире / Бормочу глухие стихи...» Встречаются и другие — Ассоль, Дульсинея... Стоит отметить, что для юных лет Любовь Татишвили уже мастерски работает со словом, не так уж часто случаются «проколы» с образом и рифмой, с невозможностью «додержать» и выстроить композицию стиха. Гораздо чаще поражаешься острому поэтическому слуху, музыкальности, аллитерациям и ассонансам, мастерской звуковой игре: «Было — бал... И балетом белым / Тело пело, веслом плыло... / Пленом пены и платья кипело. / Пылью, пеплом, бильём поросло!» Конечно, поэт не может не слышать эпоху, поэтому местами — высокопарные нотки, через которые «стучится» Белла Ахмадулина (впрочем, не до приторности, высокопарность снимается антиприёмом), где-то «замаячит» Юлия Друнина. Иногда — честь и хвала ритмическим экспериментам — вдруг возникают ритмико-интонационные параллели с Маяковским: «Есть такое место / между пролётами... / Там бы задыхаться / любовью тысячной... / Слишком громко шепчет / рядом кто-то / Мелочи. Детали. / А сердце выскочит».

Безусловно, то там, то тут ощутимо влияние Цветаевой и Ахматовой, но — влияние это, вероятно, даже осознанное, а мо-

жет быть, даже и сознательное подражание: «Мне душу до безумия / Отбеливал мороз... / Хвала ему за мумии / Похоронённых грёз...», или «И были чайки — белою метелью, / Зовущим адом, пеною у рта. / О, стань пред маем белым на колени / Там, где заката движется черта», или:

*Всё оценено. Всё разобрано.
Всё — по полочкам. Смех и грех...
Оставайся же на все стороны
Среди сотни звонких утех...*

*Не тревожу силы небесные
За нелепостью. Всё прошло.
Я за ту молитву воскресную
Заплатила своей душой.*

Но интересно, что во вроде бы ещё не освобождённом от цветаевского ритма и «придыханий» стихотворении «Ода побегу» Любовь Татишвили даёт примерный ключ к своей индивидуальной поэтике, питаемой многоликой древней языческой женской страстью и — да простят мне это сравнение — вызывающей в памяти «Танец семи покрывал» Саломеи:

*В тёмном загоне царя Георгия
Так олениха в трубной поре
Глазом косит. И зрачки её строгие
Так отливают на дымной заре.*

*Так она страстью измучена древнею —
Бегом насытиться. Чтобы у ног
Ветер плясал. Ни узды, ни стремени!
Воля — и песня, и боль, и бог.*

Прорыв к собственной поэтике происходит в главе книги, которая называется почти так же, как сборник, — «Я буду...», но одноимённое стихотворение — игровое, экспериментальное, попытка отдать дань обэриутам и футуристам — не представляется важным. Может быть, оно нужно для «раскачки», для раскрепощения, чтобы потом произошли головокружительные, где-то

мистериальные прорывы: «Не шуткой перевозданной / Агонией — слова: / “Я так люблю, мой странный, / Что кругом голова. / Одну и ту же плаху / Во звоне обагрим... / Но даже там, во прахе, / О, как ты мной любим!”» Тут почему-то вспоминается королева Маргарита Наваррская, которая, по легенде, попросила голову своего возлюбленного Бонифаса де Ла-Моль, обезглавленного на Гревской площади в 1574 году, и похоронила её собственноручно в часовне.

Во всех этих вещах — проживаемый мотив святой и священной страсти, возвышенной, своей отдачей и силою, как огнём, очищаемой: «Всё губит нас. Какой-то голубь глупый / В голубоватом воздухе повис / Для чистоты. Покусывая губы, / Усугубляю голубя каприз. / Для чистоты — так, что сама хмелею — / Руками шею обвиваю — хмель! / И нежное услышав — “Дульсиня” — / Сквозь землю провалюсь и сквозь постель!» Страсть на грани, на острие: героиня видит голубя — образ чистоты, но одновременно и искушения, и из «голубоватого воздуха» происходит грехопадение «сквозь постель». Может быть, в тартарары, в Преисподнюю. Тот же самый посыл слышим в стихотворении «Любви дотла сжигающий анфас...»: «И телу — дрожь переплетённых рук, / И долу — ока сдержанное жженье... / Судьба! Спасибо за изнеможенье, / За жизнь. За смерть. / И за случайный трюк». Вся жизнь поэта — метание и отдача чувствам, а потом — изнеможение после мистериального акта создания стихов, и послевкусие в виде осмысления — игра или не игра?

В стихах рано ушедших поэтов слышатся предзнаменования, вплоть до прямых указаний — как осуществится смерть. Хорошо знавшие Любовь Татишвили вспоминают, что у неё «было трагическое предчувствие...», что «иногда она становилась грустной, и в её очень тонкой душе ощущался какой-то надлом». Но в стихах не ощутима трагедия — они нацелены на продолжение жизни, на дальнейшее познание. Так что не удастся завершить статью красивым жестом. Смерть пришла обыденно, без пророчеств. Как соседка по коммуналке за солью. У Любви были больны почки, но в юности она об этом не знала. Обострение произошло во время беременности. Ребёнок родился мёртвым, спасали уже Любовь. Потом она пыталась поехать на специализированный курорт, но её сняли с самолёта с сильнейшим приступом...

Лечение не помогло, к тому же в то время в Томске не было аппарата искусственной почки. Любовь умерла 15 октября 1983-го года и была похоронена на сельском Тимирязевском кладбище близ Томска. Через два года после её ухода в бытовом пожаре погиб её муж Александр Кораблин: его похоронили рядом.

В 70-е, на которые пришлось активное время творчества Любви Татишвили, жили и творили множество интересных поэтесс. Белла Ахмадулина и Юлия Друнина, Лариса Васильева, Римма Казакова, Инна Лиснянская, Наталья Горбаневская, Нина Искренко, среди бардов — Новелла Матвеева и почти сверстница Татишвили поэтесса-бард Катя Яровая, тогда уже «подростали» Инна Кабыш, Елена Исаева, Ольга Сульчинская, в когорте рок-поэтов — Янка Дягилева и Анна Герасимова (Умка), широко прокатилась в конце 70-х слава маленькой Ники Турбиной. Можно называть ещё. Пёстрый набор тем и поэтик, среди которых осмысление опыта войны, тонкая музыкальная лирика, обращение к философским и богословским темам, социальный и нравственный протест (открытый иронический либо зашифрованный в символистских образах). Но, как мне представляется, трудно найти кого-то равного Татишвили по точности и беспримесной чистоте наследования этого третьего, потаённого течения женской поэзии Серебряного века. Впрочем, «рубаху рвать» не буду: надеюсь, что эти стихи еще найдут читателей и исследователей, которые проанализируют их в этом ключе (или в ином) и найдут место Любви Татишвили в русской литературе.